Литрес ≡ Классика

Алексей Писемский

ТЫСЯЧА ДУШ



Алексей Писемский

Тысяча душ

«ЛитРес»
1858

Писемский А. Ф.

Тысяча душ / А. Ф. Писемский — «ЛитРес», 1858

Молодой и честолюбивый человек без состояния, Яков Калинович, приезжает в провинциальный город, где получает место смотрителя училища. Умный и способный, он мечтает о карьере, но для достижения успеха вынужден выбирать между искренним чувством и расчётливым браком с богатой наследницей. Роман раскрывает нравы русского общества середины XIX века, показывая, как стремление к высокому положению испытывает человеческую душу и любовь.

© Писемский А. Ф., 1858
© ЛитРес, 1858

Содержание

Часть первая 6
I 6
II 14
III 22
IV 27
V 32
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Алексей Писемский
Тысяча душ

Серия «Литрес Классика»

© «Литрес», 2026

Часть первая

I



В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: «Увольняется штатный смотритель эн-ского уездного училища, коллежский асессор Годнев с мундиром и пенсионом, службе присвоенными»; потом далее: «Определяется смотрителем эн-ского училища кандидат Калинович».

Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы! – сказал он сам себе. – В мире ничего нет прочного. И Петр Михайлыч Годнев больше не смотритель, тогда как по точному счету он носил это звание ровно двадцать пять лет. Что-то теперь старик станет поделывать? Не переменит ли образа своей жизни и где будет каждое утро сидеть с восьми часов до двух вместо своей смотрительской каморы?»

В Эн-ске Годнев имел собственный домик с садом, а под городом тридцать благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку Палагею Евграфовну, девицу лет сорока пяти и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма

неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтоб прикрыть грех, хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков, и зачем им жениться?

Петра Михайлыча знали не только в городе и уезде, но, я думаю, и в половине губернии: каждый день, часов в семь утра, он выходил из дома за припасами на рынок и имел, при этом случае, привычку поговорить со встречным и поперечным. Проходя, например, мимо полуразвалившегося домишка соседки-мещанки, в котором из волокового окна[1] выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил:

– Здравствуй, Фекла Никифоровна.

– Здравствуйте, батюшка Петр Михайлыч, – отвечала та.

– Давно ли из губернии воротилась?

– Вчерашним днем, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводе, пешком отшлепала по экой по грязи.

– Как дела-то идут?

– Дела мои, Петр Михайлыч, по начальству пошли.

– Ну, коли по начальству, так хорошо.

– Да хорошо ли, отец мой?

– Хорошо… хорошо… – говорил Годнев, идя далее.

Сказать правду, Петр Михайлыч даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли, а говорил это только так, для утешения ее.

У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутом на плечи полушубке, и его Петр Михайлыч считал за нужное обласкать.

– Что, брат, объездил ли лошадку-то? – спрашивал он.

– Нешто-с… выламывается поманеньку, – отвечал тот.

– Видел я… видел… Ты молодец… ловкий ездок!

Кучер самодовольно улыбался.

Мясную лавку, куда шел Годнев, купец только еще отпирал.

– Эге, Силиверст Петрович, поздненько нынче выплыл, – говорил Годнев.

– Что делать, Петр Михайлыч! Позамешкался грешным делом, – отвечал купец. – Что парнишко-то мой: как там у вас? – прибавлял он, уходя за прилавок.

– Что парнишко? Ничего, хорошо: способности есть; резов только; вчера опять два стекла в классе вышиб, – отвечал Петр Михайлыч.

– Фу ты, господи, твоя воля! – восклицал купец, пожимая плечами. – Что только мне с этим парнем делать – ума не приложу; спуску, кажись, не даю ему ни в чем, а хошь ты брось!

– Ну, зачем же? Чересчур не надобно: хуже заколотишь.

– Заколотишь его, пострела, как бы не так! – возражал купец и потом прибавлял: – Говядинки, что ли, прикажете отвесить?

– Да, сударь, хоть говядинки; смотри, только помягче.

– Неужели жесткой! Худой вам не отпустим… худое мы про генеральш здешних бережем.

– Ну, вот уж и про генеральш! Экой вы, торговый народ, зубоскалы!

– Право, так. Не знаем только, куда эта барыня с почтмейстером деньги берегут.

Петр Михайлыч только усмехался и качал головой.

Из мясной лавки он проходил во внутренность гостиного двора, где торговки торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами.

– Ты, луковница, опять с своим товаром выехала! – говорил Петр Михайлыч бабе, около которой стояла большая корзина с луком.

Он терпеть не мог луку.

---

[1] Волоковое окно – маленькое задвижное оконце, прорубавшееся в избах старинной постройки в боковых стенах.

– Полно-ка, полно, старый барин хороший, на почине оговаривать, возьми-ка лучше прядку да и разговаривай.

– Дура, я не ем луку.

– То-то вы, баря: «луку не ем», все бы вам сахару.

– Ну, уж не сердчай, давай прядочку, – говорил Годнев и покупал лук, который тотчас же отдавал первому попавшемуся нищему, говоря: – На-ка лучку! Только без хлеба не ешь: горько будет… Поди ко мне на двор: там тебе хлеба дадут, поди!

Навстречу ему шел священник. Петр Михайлыч еще издали ему кланялся.

– Здравствуйте, – говорил он, снимая картуз и подходя к благословению.

– Здравствуйте, – отвечал тот густым басом.

– Что, отче, прочли мою книжку али еще нет?

– Прочел и намеревался сего же дня возвратить ее с моею благодарностью. Приятное сочинение.

– Да, да, поучительная книга… Занесите как-нибудь.

– Непременно, – отвечал священник и истово раскланивался.

Возвратившись домой, Петр Михайлыч проходил прямо на кухню, где стряпуха, под личным надзором Палагеи Евграфовны, затапливала уж печь.

– Вот тебе, командирша, снеди и блага земные! – говорил он, подавая экономке кулек, который та, приняв, начинала вынимать из него запас, качая головой и издавая восклицания вроде: «Э… э… э… хе, хе, хе…»

– Ну, заворчала! Эх ты, ворчунья, сударыня… Дурно, что ли, купил?

– Хорошо, – отвечала на это Палагея Евграфовна насмешливым тоном.

Она никогда не оставалась покупками Петра Михайлыча довольною и была в этом совершенно права: приятели купцы то обвешивали его, то продавали ему гнилое за свежее, тогда как в самой Палагее Евграфовне расчетливое хозяйство и чистоплотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родом из каких-то немок, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела. Приехав неизвестно как и зачем в уездный городишко, сначала чуть было не умерла с голоду, потом попала в больницу, куда придя Петр Михайлыч и увидев больную незнакомую даму, по обыкновению разговорился с ней; и так как в этот год овдовел, то взял ее к себе ходить за маленькой Настенькой. Но Палагея Евграфовна, вступив нянькой, прибрала мало-помалу к своим рукам и все домоправление. С самого раннего утра до поздней ночи она мелькала то тут, то там по разным хозяйственным заведениям: лезла зачем-то на сеновал, бегала в погреб, рылась в саду; везде, где только можно было, обтирала, подметала и, наконец, с восьми часов утра, засучив рукава и надев передник, принималась стряпать – и надобно отдать ей честь: готовить многие кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у ней все соленые и маринованные приготовления; коренная рыба[2], например, заготовляемая ею в великий пост, была такова, что Петр Михайлыч всякий раз, когда ел ее в летние жары с ботвиньей, говорил:

– Этакой, господа, рыбы и ботвиньи сам Лукулл[3] не едал!

Манишки и шейные платки для Петра Михайлыча, воротнички, нарукавнички и модести[4] для Настеньки Палагея Евграфовна чистила всегда сама и сама бы, кажется, если б только сил ее доставало, мыла и все прочее, потому что, по собственному ее выражению, у нее кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою белье.

---

[2] Коренная рыба – круто соленая красная рыба весеннего улова.

[3] Лукулл Люций Лициний (106–56 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель, обладавший огромным богатством; роскошь его пиров вошла в поговорку.

[4] Модести – вставка (чаше всего кружевная) к дамскому платью.

Когда спала и чем была сыта Палагея Евграфовна – определить было довольно трудно, и она даже не любила, если ей напоминали об этом. Чай пила как-то урывками, за стол (хоть и накрывался для нее всегда прибор) садилась на минуточку; только что подавалось горячее, она вдруг вскакивала и уходила за чем-то в кухню, и потом, когда снова появлялась и когда Петр Михайлыч ей говорил: «Что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?», Палагея Евграфовна только усмехалась и, ответив: «Кабы не ела, так и жива бы не была», снова отправлялась на кухню.

Жалованье (сто двадцать рублей ассигнациями в год) Палагея Евграфовна всегда принимала с некоторым принуждением. В конце каждого месяца Петр Михайлыч приносил ей обыкновенно десять рублей.

– Это что еще? – говорила экономка.

– Деньги ваши. Деньги – вещь хорошая. Не угодно ли получить и расписаться? – отвечал тот.

– Э… перестаньте с вашими глупостями! – говорила, отворачиваясь, экономка и начинала смотреть в окно.

– Порядок, мать-командирша, не глупость. Изволь взять! – говорил Годнев настоятельнее.

– Точно я у вас не сыта, не одета, – говорила Палагея Евграфовна и продолжала смотреть в окно.

– Изволь, изволь брать; знаешь, не люблю! – говорил Годнев еще настоятельнее.

Палагея Евграфовна сердито брала деньги и с пренебрежением кидала их в рабочий ящик.

Всякий раз при этой сцене, несмотря на недовольное выражение лица, у ней навертывались на глазах слезы.

– Взял нищую с дороги, не дал с голоду умереть да еще жалованье положил, бесстыдник этакой! У самого дочка есть: лучше бы дочке что-нибудь скопил! – ворчала она себе под нос.

– А ты мне этого, командирша, не смей и говорить, – слышишь ли? Тебе меня не учить! – прикрикивал на нее Петр Михайлыч, и Палагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалованье с неудовольствием.

Передав запас экономке, Петр Михайлыч отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода:

– Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись… Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо… надо давать время занятиям, время отдыху и время сну.

– Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила.

– И то дурно: что ж мы будем сегодня читать? Вот вечером и нечего читать.

– Нет, я вам ее дочитаю, я с удовольствием прочту ее еще раз; и вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек.

– Ну, ну, не рассказывай! Изволь-ка мне лучше прочесть: мне приятнее от автора узнать, как и что было, – перебивал Петр Михайлыч, и Настенька не рассказывала.

После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукодельем она не занималась. Петр Михайлыч, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо «Теркой». Надобно было иметь истинно христианское терпение Петра Михайлыча, чтобы держать Гаврилыча в продолжение десяти лет сторожем при училище, потому что инвалид, по старости лет, был и глуп, и ленив, и груб; никогда почти ничего не прибирал, не чистил, так что Петр Михайлыч принужден был, по крайней мере раз в месяц, нанимать на свой счет поломоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогре-

тыми щами, которые он обыкновенно и становил с вечера в смотрительской комнате в печку на целую ночь. Петр Михайлыч, почти каждый раз, приходя поутру, говорил:

– Ты, гренадер, опять щи парил. Экую душину напустил! Смотри-ка: не дохнешь!

– Ну да, парил, у тебя все парил! – возражал Гаврилыч.

– Да как же не парил! Еще запираешься, лжешь на старости лет, греховодник!

– Погляди сам в печку, так, може, и увидишь, что тамотка ничего нет.

– Знаю, что в печке ничего нет: съел! И сало-то еще с рыла не вытер, дурак!.. Огрызается туда же! Прогоню, так и знаешь… шляйся по миру!

– Гони! Словно миром не живут, – отвечал Терка и уходил.

– Дурак! – повторял ему вслед Петр Михайлыч.

Впрочем, тем все и кончалось.

Занявшись в смотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов Петр Михайлыч обходил училище и начинал, как водится, с первого класса, в котором, тоже, как водится, была пыль столбом.

– Ах вы, эфиопы! Татарская орда! А?.. Тише!.. Молчать!.. Чтобы муха пролетала, слышно у меня было! – говорил старик, принимая строгий вид.

В классе несколько утихало.

– Зашумите вы у меня еще раз! Всех переберу – из девяти возьму десятого на выдержку! – заключал он торжественно и уходил.

В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног.

– Что ты? Что ты, братец? – говорил, разводя руками, Петр Михайлыч. – Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену, погоди ты у меня!

– Петр Михайлыч, меня Модест Васильич без обеда оставил; я не виноват-с! – говорил третьего класса ученик Калашников, парень лет восьмнадцати, дюжий на взгляд, нечесаный, неумытый и в чуйке.

– Когда оставил, стало, ты это заслужил, – возражал ему Петр Михайлыч.

– Я, ей-богу, ничего не делал; спросите всех. Они на меня, известно, нападают. Мне сегодня нельзя: день базарный; у тятеньки в лавке некому сидеть.

– И лучше, что нельзя, лучше раскаешься и поймешь, что дурить и грубить не следует, – говорил Петр Михайлыч и поскорее уходил.

Калашников его передразнивал, так что старик все слышал:

– Грубить и дурить не следует, – ту, ту, ту, тетерев! Я и без шапки убегу; много с меня возьмешь! – говорил он и с досады отламывал закраину у карты.

Вообще строгость и крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайлыча. Со школьниками он еще кое-как справлялся и, в крайней необходимости, даже посекал их, возлагая это, без личного присутствия, на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда; однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть, если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот, выскочив из смотрительской, часа два отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился старик, когда ему нужно было делать замечание или выговоры учителям. Этому, впрочем, подпадал один только преподаватель истории Экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжение всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, очень молчалив и предмет свой знал прекрасно; но только что получал жалованье, на другой же день являлся в класс развеселый; с учениками шутит, пойдет потом гулять по улице – шляпа набоку, в зубах сигара, попевает, насвистывает, пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить; к женскому полу получает сильное стремление и для этого придет к реке, станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье, и любуется… Посуда, окна, домашние не попадайся: исколотит. А проспится, опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает из какого звания, с пятерыми детьми, – женщине глупой, вздорной,

по милости которой он, говорят, и пить начал. Во все время, покуда кутит муж, Экзархатова убегала к соседям; но когда он приходил в себя, принималась его, как ржа железо, есть, и достаточно было ему сказать одно слово – она пустит в него чем ни попало, растреплет на себе волосы, платье и побежит к Петру Михайлычу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит:

– Батюшка, Петр Михайлыч, сделайте божескую милость! Что это такое?.. Батюшка!..

– Что такое случилось? Что вам угодно от меня? – спрашивает Годнев, хотя очень хорошо знал, что такое случилось.

– Известно что: двои сутки пил! Что хошь, то и делайте. Нет моей силушки: ни ложки, ни плошки в доме не стало: все перебил; сама еле жива ушла; третью ночь с детками в бане ночую.

– Боже мой! Боже мой! – говорил Петр Михайлыч, пожимая плечами. – Вы, сударыня, успокойтесь; я ему поговорю и надеюсь, что это будет в последний раз.

– Батюшка, да ты хорошенько с него спроси; нельзя ли как-нибудь… хошь бы ты посек его.

– Как это можно, сударыня! Вам и говорить этого не следует, – возражал Петр Михайлыч.

– Гаврилыч! – кричал он. – Подите и попросите ко мне господина Экзархатова.

И Экзархатов являлся, немного сутуловатый, в потертом вицмундире, с лицом истощенным, с синяком на левом глазу… вообще фигура очень печальная.

– Вы, Николай Иваныч, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться! Сами, я думаю, знаете греческую фразу: «Пьянство есть небольшое бешенство!» И что за желание быть в полусумасшедшем состоянии! С вашим умом, с вашим образованием… нехорошо, право, нехорошо!

– Виноват, Петр Михайлыч, сам очень хорошо чувствую, – отвечал Экзархатов и еще ниже потуплял голову.

– Ты, рожа этакая безобразная! – вмешивалась Экзархатова, не стесняясь присутствием смотрителя. – Только на словах винишься, а на сердце ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребят, какой ты поилец и кормилец! Не воровать мне, не по миру идти из-за тебя!

– Так, так, – говорил Годнев, качая головой.

– Виноват, Петр Михайлыч, – повторял Экзархатов.

– Верю, верю вашему раскаянию и надеюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу вас идти к вашим занятиям, – говорил Петр Михайлыч. – Ну вот, сударыня, – присовокупил он, когда Экзархатов уходил, – видите, не помиловал; приличное наставление сделал: теперь вам нечего больше огорчаться.

Но Экзархатова не оставалась этим довольна.

– А что мне не огорчаться-то? Что вы ему сделали?.. По головке еще погладили пса этакова? – говорила она.

– Ай, ай, ай! Как это стыдно даме такие слова говорить! – возражал Петр Михайлыч. – Супруги должны недостатки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью.

– Тьфу мне на его любовь – вот он, криворожий, чего стоит! – возражала Экзархатова. – Кабы знала, так бы не ходила, потатчики этакие! – присовокупляла она, уходя.

Петр Михайлыч усмехался и говорил сам с собой:

– Характерная женщина! Ах, какая характерная! Сгубила совсем человека; а какой малый-то бесподобный! Что ты будешь делать?

Проходя из училища домой, Петр Михайлыч всегда был очень рад, когда встречал кого-нибудь из знакомых помещиков, приехавших на время в город.

– Остановитесь на минуточку! – кричал он.

Помещик останавливался.

– Надолго ли? – спрашивал Петр Михайлыч.

– До завтра.

– А сегодня никуда не званы обедать?

– Нет, ни у кого еще не был.

– Так что же, приезжайте щей откушать; а если нет, так рассержусь, право рассержусь. С год уж мы не видались.

– Благодарю вас. Буду, если позволите. Сейчас только в суд заеду.

– Добре, добре, вот это по-нашему, по-приятельски. До свиданья, – говорил Петр Михайлыч.

Против этой его привычки приглашать к себе обедать постоянно восставала Палагея Евграфовна.

– А что, мать-командирша, что мы будем сегодня обедать? – спрашивал он, приходя домой.

– Будете сыты, не беспокойтесь.

– То-то; я пригласил одного человека…

– Что это, Петр Михайлыч, никогда заблаговременно не скажете, и что у вас все гости да гости! Не напасешься ничего, да и только.

– Ну, ну, полно, командирша, ворчать! Кто не любит разделить своей трапезы с приятелем, тот человек жадный.

Впрочем, и Палагее Евграфовне было не жаль: она не любила только, когда ее заставали, как она выражалась, неприпасенную. Кроме случайных посетителей, у Петра Михайлыча был один каждодневный – родной его брат, отставной капитан Флегонт Михайлыч Годнев. Капитан был холостяк, получал сто рублей серебром пенсиона и жил на квартире, через дом от Петра Михайлыча, в двух небольших комнатках. В противоположность разговорчивости и обходительности Петра Михайлыча, капитан был очень молчалив, отвечал только на вопросы и то весьма односложно. Он очень любил птиц, которых держал различных пород до сотни; кроме того, он был охотник ходить с ружьем за дичью и удить рыбу; но самым нежнейшим предметом его привязанности была легавая собака Дианка. Он с ней спал, мыл ее, никогда с ней не разлучался и по целым часам глядел на нее, когда она лежала под столом развалившись, а потом усмехался.

– Чему это, капитан, вы смеетесь? – спрашивал его Петр Михайлыч. Он всегда называл брата «капитаном».

– Да вон-с, Дианка спит, – отвечал тот.

Постоянный костюм капитана был форменный военный вицмундир. Курил он, и курил очень много, крепкий турецкий табак, который вместе с пенковой коротенькой трубочкой носил всегда с собой в бисерном кисете. Кисет этот вышила ему Настенька и, по желанию его, изобразила на одной стороне казака, убивающего турка, а на другой – крепость Варну. Каждодневно, за полчаса да прихода Петра Михайлыча, капитан являлся, раскланивался с Настенькой, целовал у ней ручку и спрашивал о ее здоровье, а потом садился и молчал.

– Что ж вы не курите? – говорила Настенька, чтоб занять его чем-нибудь.

– А вот-с покурю, – отвечал капитан и набивал свою коротенькую трубочку, высекал огонь к труту собственного изделия из толстой сахарной бумаги и начинал курить.

– Здравствуйте, капитан! – говорил приходя Петр Михайлыч.

Капитан вставал и почтительно ему кланялся. Из одного этого поклона можно было заключить, какое глубокое уважение питал капитан к брату. За столом, если никого не было постороннего, говорил один только Петр Михайлыч; Настенька больше молчала и очень мало кушала; капитан совершенно молчал и очень много ел; Палагея Евграфовна беспрестанно вскакивала. После обеда между братьями всегда почти происходил следующий разговор:

– Куда это путь изволите направлять: верно, на птиц своих посмотреть? – говорил Петр Михайлыч, когда капитан, выкурив трубку, брался за фуражку.

– Да-с, нужно побывать, – отвечал тот.

– С богом! Вечером будете?

– Буду-с, – отвечал капитан и уходил, а вечером действительно являлся к самому чаю с своими обычными атрибутами: кисетом, трубкой и Дианкой.

После чаю обыкновенно начиналось чтение. Капитан по преимуществу любил книги исторического и военного содержания; впрочем, он и все прочее слушал довольно внимательно, и, когда Дианка проскулит что-нибудь во сне, или сильно начнет чесать лапой ухо, или заколотит хвостом от удовольствия, он всегда погрозит ей пальцем и проговорит тихим голосом: «куш!»

В праздничные дни жизнь Годневых принимала несколько другой характер. Петр Михайлыч, в своей вседневной, старой бекеше и в старой фуражке, отправлялся обыкновенно к заутрени в свой приход, куда также являлся и Флегонт Михайлыч. После службы братья расходились по домам. К обедне Петр Михайлыч шел уже с Настенькой и был одет в новую шинель и шляпу и средний вицмундир; капитан являлся тоже в среднем вицмундире. Отслушав литургию, братья подходили к кресту, потом целовались и поздравляли друг друга с праздником. Капитан, кроме того, подходил к Настеньке, справлялся, по обыкновению, о ее здоровье и поздравлял ее с праздником. Из церкви вся семья отправлялась домой, где для них Палагея Евграфовна приготовляла кофе. По праздникам Петр Михайлыч был еще спокойнее, еще веселее.

– Не угодно ли вам, возлюбленный наш брат, одолжить нам вашей трубочки и табачку? – говорил он, принимаясь за кофе, который пил один раз в неделю и всегда при этом выкуривал одну трубку табаку.

Эта просьба брата всегда доставляла капитану большое наслаждение. Он старательно выдувал свою трубочку, аккуратно набивал табак и, положив зажженного труту, подносил Петру Михайлычу, который за это целовал его.

Известие об отставке Годнева удивило весь город.

– Вы, Петр Михайлыч, в отставку вышли? – говорили ему.

– Да, сударь, – отвечал он.

– Что же вам вздумалось?

– А что же? Будет с меня, послужил!

– Да ведь вы бы двойной оклад получали?

– Зачем мне двойной оклад? У меня, слава богу, кусок хлеба есть: проживу как-нибудь.

II

Из предыдущей главы читатель имел полное право заключить, что в описанной мною семье царствовала тишь, да гладь, да божья благодать, и все были по возможности счастливы. Так оно казалось и так бы на самом деле существовало, если б не было замешано тут молоденького существа, моей будущей героини, Настеньки. Та же исправница, которая так невыгодно толковала отношения Петра Михайлыча к Палагее Евграфовне, говорила про нее.

– Господи, боже мой! Может же быть на свете такая дурнушка, как эта несчастная Настенька Годнева!

– Что же за особенная дурнушка? Напротив, очень милая девушка, – осмеливался слегка возразить ей муж.

– Очень милая, – возражала в свою очередь исправница с ударением и вся вспыхнув, как будто нанесено ей было глубокое оскорбление.

– Что ж такое? – говорил больше про себя муж.

– Очень милая, – повторяла исправница (в голосе ее слышалось шипенье), – в танцах мешается, а по-французски произносит: же-не-ве-па, же-не-пе-па!

– Люди небогатые: не на что было гувернанток нанимать! – еще раз рискует заметить муж.

Исправница несколько минут смотрит ему в лицо, как бы измеряя его и обдумывая, что бы такое с ним сделать, а потом, видимо, сдерживая свой гнев, говорит:

– Зачем вы ходите сюда в гостиную? Подите вы вон, сидите вы целый день в вашем кабинете и не смейте показывать вашего скверного носа.

Исправник пожимает только плечами и уходит.

– Какой мудрец-философ выискался, дурак набитый! Смеет еще рассуждать, – говорит исправница. – Мужичкам тоже не на что нанимать гувернанок, а все-таки они мужички.

Нужно ли говорить, что невыгодные отзывы исправницы были совершенно несправедливы. Настенька, напротив, была очень недурна собой: небольшого роста, худенькая, совершенная брюнетка, она имела густые черные волосы, большие, черные, как две спелые вишни, глаза, полуприподнятые вверх, что придавало лицу ее несколько сентиментальное выражение; словом, головка у ней была прехорошенькая.

Что ж касается образования, то я должен здесь сделать маленькое отступление. Настенька была в полном смысле то, что называется уездная барышня… Но бога ради, не подумай, читатель, чтоб она была уездная барышня настоящего времени. Тут есть громадное различие. Я, например, очень еще не старый человек и только еще вступаю в солидный, околосорокалетний возраст мужчины; но – увы! – при всех моих тщетных поисках, более уже пятнадцати лет перестал встречать милых уездных барышень, которым некогда посвятил первую любовь мою, с которыми, читая «Амалат-Бека»[5], обливался горькими слезами, с которыми перекидывался фразами из «Евгения Онегина», которым писал в альбом:

Я не скажу, я не признаюсь,
В чем тайна вечная моя.

В то мое время почти в каждом городке, в каждом околотке рассказывались маленькие истории вроде того, что какая-нибудь Анночка Савинова влюбилась без ума – о ужас! – в Ананьина, женатого человека, так что мать принуждена была возить ее в Москву, на воды, чтоб вылечить от этой безрассудной страсти; а Катенька Макарова так неравнодушна к карабинер-

[5] «Амалат-Бек» – повесть писателя-декабриста А.А.Бестужева (1797–1837), выступавшего в печати под псевдонимом А.Марлинский.

ному поручику, что даже на бале не в состоянии была этого скрыть и целый вечер не спускала с него глаз. У каждой почти барышни тогда – я в том уверен – хранилось в заветном ящике комода несколько тетрадей стихов, переписанных с грамматическими, конечно, ошибками, но старательно и все собственной рукой. В бесконечных мазурках барышни обыкновенно говорили с кавалерами о чувствах и до того увлекались, что даже не замечали, как мазурка кончалась и что все давно уж сидели за ужином. Ничего этого нет в нынешних уездных барышнях. Боже мой, как они нынче благоразумны и осторожны, какую имеют, сравнительно с прежними барышнями, большую привычку к корсету! Как бойко, хоть не совсем с толком, играют на фортепьяно! Как правильно говорят по-французски! Как грациозны в танцах! Но зато, не беспокойтесь, они не затанцуются до увлечения. Если вы с ними заговорите о чувствах (автор с умыслом это сделал), они, поверьте, не поддержат разговора или потому, что просто не поймут, или найдут это неприличным. Если вы нынешнюю уездную барышню спросите, любит ли она музыку, она скажет: «да» и сыграет вам две – три польки; другая, пожалуй, пропоет из «Нормы»[6], но если вы попросите спеть и сыграть какую-нибудь русскую песню или романс, не совсем новый, но который вам нравился бы по своей задушевности, на это вам сделают гримасу и встанут из-за рояля. Автор однажды высказал в обществе молодых деревенских девиц, что, по его мнению, если девушка мечтает при луне, так это прекрасно рекомендует ее сердце, – все рассмеялись и сказали в один голос: «Какие глупости мечтать!» Наш великий Пушкин, призванный, кажется, быть вечным любимцем женщин, Пушкин, которого барышни моего времени знали всего почти наизусть, которого Татьяна была для них идеалом, – нынешние барышни почти не читали этого Пушкина, но зато поглотили целые сотни томов Дюма и Поля Феваля[7], и знаете ли почему? – потому что там описывается двор, великолепные гостиные героинь и торжественные поезды. Если автору случалось в нынешних барышнях замечать что-то вроде любви, то тут же открывалось, что чувство это было направлено именно на человека, с которым могла составиться приличная партия; и чем эта партия была приличнее, то есть выгоднее, тем более страсть увеличивалась. Почти положительно можно сказать, что прежние барышни страдали от любви; нынешние – оттого, что у папеньки денег мало. Прежде молодая девушка готова была бежать с бедным, но благородным Вольдемаром; нынче побегов нет уж больше, но зато автор с растерзанным сердцем видел десятки примеров, как семнадцатилетняя девушка употребляла все кокетство, чтоб поймать богатого старика. Прежде заветный он казался полубогом, а нынче заветный он – будущий генерал или владелец пятисот душ. Мечтательности, чувствительности, которую некогда так хлопотал распространить добродушный Карамзин[8], – ничего этого и в помине нет: тщеславие и тщеславие, наружный блеск и внутренняя пустота заразили юные сердца. Для кареты на лежачих рессорах, для бархатной мантильи, обшитой лебяжьим пухом, для брильянтового склаважа[9] готовы нынешние барышни на всевозможную супружескую муку.

Героиня моя была не такова: очень умненькая, добрая, отчасти сентиментальная и чувствительная, она в то же время сидела сгорбившись, не умела танцевать вальс в два темпа, не играла совершенно на фортепьяно и по-французски произносила – же-не-ве-па, же-не-пе-па. Что делать? У нее не было ни гувернантки-француженки, способной передать ей тайну хорошего произношения; ее не выпрямляли и не учили приседать в пансионе; при ней даже не было никакой практической тетушки или сестрицы, которая хлопотала бы о ее наружности и набила бы ее, как говорит Гоголь, всяким бабьем.

---

[6] «Норма» – опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).

[7] Феваль Поль (1817–1887) – французский писатель, автор бульварных романов.

[8] Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – известный русский писатель и историк, автор повести «Бедная Лиза», пользовавшейся большим успехом.

[9] Склаваж – золотая цепь, украшенная драгоценными камнями.

Лишившись жены, Петр Михайлыч не в состоянии был расстаться с Настенькой и вырастил ее дома. Ребенком она была страшная шалунья: целые дни бегала в саду, рылась в песке, загорала, как только может загореть брюнеточка, прикармливала с реки гусей и бегала даже с мещанскими мальчиками в лошадки. Ходившая каждый день на двор к Петру Михайлычу нищая, встречая ее, всегда говорила:

– Экая барышня шалунья! Постой-ка, я ее возьму в мешок да унесу.

Настенька краснела, но не теряла присутствия духа и смело глядела в лицо старухе. Палагеи Евграфовны она, конечно, нисколько не слушалась и не боялась.

Экономка приходила в ужас, глядя на ее перепачканные платьица и изорванные башмачки.

– Вот тебе и петербургская холстиночка; ходите теперь, в чем хотите… Нет уж, Настасья Петровна, нет, нажалуюсь на вас папеньке… – говорила она.

– Папаша ничего не скажет, – отвечала Настенька и сама бежала к отцу.

– Папаша, посмотри, какая я замарашка, – говорила она.

– Славно, славно, дикарочка моя! – отвечал тот (за резвость и за смуглый цвет лица Петр Михайлыч прозвал дочку дикарочкой).

Настенька прыгала к нему на колени, целовала его, потом ложилась около него на диван и засыпала. Старик по целым часам сидел не шевелясь, чтоб не разбудить ее, по целым часам глядел на нее, не опуская глаз, сам бережно потом брал ее на руки и переносил в кроватку.

«Сколько бы у нас общей радости было, кабы покойница была жива», – говорил он сам с собою и с навернувшимися слезами на глазах уходил в кабинет и долго уж оттуда не возвращался…

Когда Палагея Евграфовна замечала Петру Михайлычу: «Баловник уж вы, баловник, нечего таиться», – он обыкновенно возражал: «Воспрещать ребенку резвиться – значит отравлять самые лучшие минуты жизни и омрачать самую чистую, светлую радость».

Учить Настеньку чистописанию, закону божию, 1-й и 2-й части арифметики и грамматике Петр Михайлыч начал сам. Девочка была очень понятлива. С каким восторгом он показывал своим знакомым написанную ее маленькими ручонками, но огромными буквами известную пропись: «Америка очень богата серебром!»

– Каллиграф у меня, господа, дочка будет, право, каллиграф! – говорил он. Очень также любил проэкзаменовать ее при посторонних из таблицы и, стараясь как бы сбивать, задавал таким образом:

– А сколько, например, скажите вы мне, Настасья Петровна, девятью два?

– Восьмнадцать, – отвечала Настенька и никогда не ошибалась.

Старик был в восторге.

Когда Настеньке минуло четырнадцать лет, она перестала бегать в саду, перестала даже играть в куклы, стыдилась поцеловать приехавшего в отставку дядю-капитана, и когда, по приказанию отца, поцеловала, то покраснела; тот, в свою очередь, тоже вспыхнул. Чем и как было Петру Михайлычу занять в его однообразной жизни свою дикарочку? Не замечая сам того, он приучил ее к своему любимому занятию. Все, я думаю, помнят, в каком огромном количестве в тридцатых годах выходили романы переводные и русские, романы всевозможных содержаний: исторические, нравоописательные, разбойничьи; сборники, альманахи и, наконец, журналы. Из всего этого каждый вечер что-нибудь прочитывалось. Настенька сначала слушала с бессознательным любопытством ребенка, а потом сама стала читать отцу вслух и, наконец, пристрастилась к чтению.

Появление ее в маленьком уездном свете было не совсем удачно: ей минуло восьмнадцать лет, когда в город приехала на житье генеральша Шевалова, дама премодная и прегордая. Прежде она жила по летам в своей усадьбе, а по зимам в столицах и теперь переехала в уездный городок, чтоб иметь личное влияние на производящийся там значительный процесс по ее

имению. У ней была всего одна дочь, мамзель Полина, девушка, говорят, очень умная и образованная, но, к несчастью, с каким-то болезненным цветом лица и, как ходили слухи, без двух ребер в одном боку – недостаток, который, впрочем, по наружности почти невозможно было заметить. Генеральша была очень богата и неимоверно скупа: выжимая из имения, насколько можно было из него выжать, она в домашнем хозяйстве заправляла всем сама и дрожала над каждой копейкой. Скупость ее, говорят, простиралась до того, что не только дворовой прислуге, но даже самой себе с дочерью она отказывала в пище, и к столу у них, когда никого не было, готовилось в такой пропорции, чтоб только заморить голод; но зато для внешнего блеска генеральша ничего не жалела. Переехав в город, она наняла лучшую квартиру, мебель была привезена обитая бархатом, трипом[10]; во всех комнатах развешены были картины в золотых рамах и расставлено пропасть бронзовых вещей. По городу она всегда ездила в карете с форейтором, хотя и на сильно сморенной четверне. У нее был метрдотель, и все лакеи были постоянно одеты в ливреи. В заключение всего, она объявила, что в продолжение всей зимы у ней будут по четвергам танцевальные вечера.

В маленьком городишке все пало ниц перед ее величием, тем более что генеральша оказалась в обращении очень горда, и хотя познакомилась со всеми городскими чиновниками, но ни с кем почти не сошлась и открыто говорила, что она только и отдыхает душой, когда видится с князем Иваном и его милым семейством (князь Иван был подгородный богатый помещик и дальний ее родственник).

С Петром Михайлычем генеральша познакомилась более случайно. Она отнеслась к нему с просьбою снабжать ее книгами из библиотеки уездного училища, и когда он изъявил согласие, она, как бы в возмездие, пригласила его приехать в первый же четверг и непременно с дочерью. Настеньке сделалось немножко страшно, когда Петр Михайлыч объявил ей, что они поедут к генеральше на бал; впрочем, ей хотелось. Годнев, при всей своей неопытности к бальной жизни, понимал, что в первый раз в свете надобно показать дочь как можно наряднее одетою и советовался по этому случаю с Палагеей Евграфовной. На совещании их положено было купить Настеньке самого лучшего газу на платье и лучшего атласу на чехол. Экономка принялась хлопотать до невероятности и купленную материю меняла раз семь: то заметит на газе дырочку более обыкновенной, то маленькое пятнышко на атласе. Шить сама платье не взялась, а отыскала у казначейши крепостную портниху, уговорила ее работать у них на дому, посадила в свою комнату и следила за каждым ее стежком. На шею Настеньке она предназначила надеть покойной жены Петра Михайлыча жемчуг с брильянтовым фермуаром[11], который перенизывала, чистила, мыла и вообще приводила в порядок целые полдня. Палагея Евграфовна, как истая немка, бывши мастерицей стряпать, не умела одевать. Выбранный ею газ хотя и отличался добротою, но был уж очень грубого розового цвета. Крепостная портниха тоже перемодничала в покрое платья и чрезвычайно низко пустила мыс у лифа. Приведенный в порядок жемчуг, конечно, был довольно ценный, но имел какой-то аляповатый купеческий характер. Всех этих недостатков не замечали ни Настенька, которая все еще была под влиянием неопределенного страха, ни сама Палагея Евграфовна, одевавшая свою воспитанницу, насколько доставало у нее пониманья и уменья, ни Петр Михайлыч, конечно, который в тонкостях женского туалета ровно ничего не смыслил. Сам он оделся в новый свой вицмундир, в белый с светлыми форменными пуговицами жилет и белый галстук – костюм, который он обыкновенно надевал, причащаясь и к обедне светлого христова воскресенья. Когда Настенька вышла совсем одетая, он воскликнул:

[10] Трип – шерстяной мебельный плюш.

[11] Фермуар – здесь – застежка на ожерелье.

– Фу ты, какая королева! bene!.. optime!..[12] Ну-ка, поверни головку… хорошо… право, хорошо… Мать-командирша, ведь Настенька у нас прехорошенькая!

– Э, перестаньте, не мешайте, посторонитесь; только застите; ничего не видно, – отвечала отрывисто экономка, заботливо поправляя и отряхивая платье Настеньки.

В освещенную залу генеральши, где уж было несколько человек гостей, Петр Михайлыч вошел, ведя дочь под руку. Грустно, отрадно и отчасти смешно было видеть его в эти минуты: он шел гордо, с явным сознанием, что его Настенька будет лучше всех. По самодовольному и спокойному выражению лица его можно было судить, как далек он был от мысли, что с первого же шагу маленькая, худощавая Настенька была совершенно уничтожена представительною наружностью старшей дочери князя Ивана, девушки лет восьмнадцати и обаятельной красоты, и что, наконец, тут же сидевшая в зале ядовитая исправница сказала своему смиренному супругу, грустно помещавшемуся около нее:

– Поздравляю, нынче уж тараканы в клюковном морсу стали появляться на модных вечерах.

В гостиной Петр Михайлыч подошел к хозяйке, которая сидела в полулежачем положении на угловом диване.

– Позвольте, ваше превосходительство, представить вам дочь мою, – сказал он, расшаркиваясь.

– Charmee[13], – сказала генеральша, закатывая глаза и слегка кивнув головой.

Настенька села на довольно отдаленное кресло. Генеральша лениво повернула к ней голову и несколько минут смотрела на нее своими мутными серыми глазами. Настенька думала, что она хочет что-нибудь ее спросить, но генеральша ни слова не сказала и, поворотив голову в другую сторону, где навытяжке сидела залитая в брильянтах откупщица, проговорила:

– Как мне ваш браслет нравится! Combien l'avez vous paye?[14]

– Не знаю, ваше превосходительство; это подарок мужа, – отвечала та, покраснев от удовольствия, что обратили на нее внимание.

Вошла m-lle Полина, только что еще кончившая свой туалет; она прямо подошла к матери, взяла у ней руку и поцеловала.

– Qiu est cette jeune personne?[15] – спросила она, взглянув, прищурившись, на Настеньку.

Мать ничего не отвечала, а только закрыла глаза и улыбнулась.

Настенька была умна и самолюбива; она все это заметила, все очень хорошо поняла – и вспыхнула. Начались танцы. Танцующих мужчин было немного, и все они танцевали то с хозяйской дочерью, то с другими знакомыми девицами. Настеньку никто не ангажировал; и это еще ничего – ей угрожала большая неприятность: в числе гостей был некто столоначальник Медиокритский, пользовавшийся особенным расположением исправницы, которая отрекомендовала его генеральше писать бумаги и хлопотать по ее процессу, и потому хозяйка скрепив сердце пускала его на свои вечера, и он обыкновенно занимался только тем, что натягивал замшевые перчатки и обдергивал жилет. Но в этот вечер Медиокритский, видя, что Годнева все сидит и ни с кем не танцует, вообразил, что это именно ему приличная дама, и, вознамерившись с нею протанцевать, подошел к Настеньке, расшаркался и пригласил ее на кадриль. Она, конечно, поняла, что одно уж приглашение подобного кавалера было новым для нее унижением, но не подала вида и пошла. С первого же шагу оказалось, что Медиокритский и не думал никого приглашать быть своим визави; это, впрочем, сейчас заметила и поправила m-lle Полина: она сейчас же перешла и стала этим визави с своим кавалером, отпускным гуса-

[12] хорошо!.. прекрасно!.. (лат.).

[13] Очень рада (франц.).

[14] Сколько вы за него заплатили? (франц.).

[15] Кто эта молодая особа? (франц.).

ром, сказав ему что-то вполголоса. Тот пожал только плечами и проговорил: «O mon Dieu, mon Dieu!»[16] Далее потом молодой столоначальник, изучивший французскую кадриль самоучкой и более наглядкой, не совсем твердо знал ее и беспрестанно мешался, а в пятой фигуре, как более трудной, совершенно спутался. С дамой своей он не говорил ни слова и только по временам ласково и с улыбкою на нее взглядывал. Когда же кончилась кадриль, он вдруг сказал; на следующую. У Настеньки потемнело в глазах; она готова была расплакаться, но переломила себя и дала слово. Когда они опять стали, по многим лицам пробежала насмешливая улыбка. Медиокритский держал себя по-прежнему: в продолжение всей кадрили он молчал, а при окончании проговорил снова: на следующую. По незнанию бальных обычаев, ему и в голову не приходило, что танцевать с одной дамой целый вечер не принято в обществе.

Настенька не могла более владеть собой: ссылаясь на головную боль, она быстро отошла от навязчивого кавалера, подошла к отцу, который с довольным и простодушным видом сидел около карточного стола; но, взглянув на нее, он даже испугался – так она была бледна.

– Что такое с тобой, душа моя? – спросил он с беспокойством.

– Поедемте домой: мне дурно, – отвечала Настенька.

– Поедем, поедем. Ах, какая ты слабая! – говорил старик, вставая. – Извините, ваше превосходительство, – проговорил он, проходя гостиную, – захворала вон у меня.

Приехав домой, Настенька свой бальный наряд не сняла, а сбросила и кинулась на постель. На другой день проснулась она с распухшими от слез глазами и дала себе слово не ездить больше никуда. Чтение сделалось единственным ее развлечением. Она читала все, что только ей попадалось под руку. Русских книг стало, наконец, недоставать. Настенька объявила отцу, что хочет учиться французскому языку. Старик, хорошо знавший этот язык, но дурно произносивший, взялся учить ее. Настенька занималась день и ночь, и в полгода почти свободно читала. Все это, конечно, очень образовало и развило ее в умственном отношении, но вместе с тем сильно раздражило ее воображение. Она начала жить в каком-то особенном мирочке, наполненном Гомерами, Орасами[17], Онегиными, героями французской революции. Любовь женщины она представляла себе не иначе, как чувством, в основании которого должно было лежать самоотвержение, жизнь в обществе – мучением, общественный суд – вздором, на который не стоит обращать внимания. Окружавшая ее среда сделалась для нее невыносимою. Добродушный и всегда довольный Петр Михайлыч стал ее возмущать, особенно когда кого-нибудь хвалил из городских или рассказывал какие-нибудь происшествия, случавшиеся в городе, и даже когда он с удовольствием обедал – словом, она начала делаться для себя, для отца и для прочих домашних какой-то маленькой тиранкой и с каждым днем более и более обнаруживать странностей. Вдруг, например, захотела ездить верхом, непременно заставила купить себе седло и, несмотря на то, что лошадь была не приезжена и сама она никогда не ездила, поехала, или, лучше сказать, поскакала в галоп, так что Петр Михайлыч чуть не умер от страха. Однако она возвратилась благополучно, хотя была бледна и вся дрожала. В другой раз вздумала идти за тридцать верст на богомолье пешком. Сходила и две недели после того была больна.

Все эти капризы и странности Петр Михайлыч, все еще видевший в дочери полуребенка, объяснял расстройством нервов и твердо был уверен, что на следующее же лето все пройдет от купанья, а вместе с тем неимоверно восхищался, замечая, что Настенька с каждым днем обогащается сведениями, или, как он выражался, расширяет свой умственный кругозор.

– Экая ты у меня светлая головка! Если б ты была мальчик, из тебя бы вышел поэт, непременно поэт, – говорил старик.

---

[16] Боже мой, боже мой! (франц.).

[17] Орас – герой одноименного романа французской писательницы Жорж Санд (1804–1876).

Дочь слушала и краснела, потому что она была уже поэт и почти каждый день потихоньку от всех писала стихи.

Так время шло. Настеньке было уж за двадцать; женихов у ней не было, кроме одного, впрочем, случая. Отвратительный Медиокритский, после бала у генеральши, вдруг начал каждое воскресенье являться по вечерам с гитарой к Петру Михайлычу и, посидев немного, всякий раз просил позволения что-нибудь спеть и сыграть. Старик по своей снисходительности принимал его и слушал. Медиокритский всегда почти начинал, устремив на Настеньку нежный взор:

Я плыву и наплыву
Через мглу – на скалу
И сложу мою главу
Неоплаканную.

Все это разрешилось тем, что в одно утро приехала совершенно неожиданно к Петру Михайлычу исправница и прямо сделала от своего любимца предложение Настеньке. Петр Михайлыч усмехнулся.

– Благодарим вас покорно, Марья Ивановна, за ваше беспокойство, а Медиокритского за честь, – сказал он, – только дочь моя еще молода.

У исправницы начало подергивать губу; она вообще очень не любила противоречия, а в этом случае даже и не ожидала.

– Это, Петр Михайлыч, обыкновенно говорят как один пустой предлог! – возразила она. – Я не знаю, а по-моему, этот молодой человек – очень хороший жених для Настасьи Петровны. Если он беден, так бедность не порок.

Петру Михайлычу стало уж немного досадно.

– Бедность точно не порок, – возразил он, в свою очередь, – и мы не можем принять предложения господина Медиокритского не потому, что он беден, а потому, что он человек совершенно необразованный и, как я слышал, с довольно дурными нравственными наклонностями.

– Здесь, кажется, у всех одно образование, что у женихов, что у невест! – проговорила исправница с насмешкою.

Настенька, бывшая свидетельницей этой сцены, не вытерпела.

– У вас, Марья Ивановна, у самих дочь невеста, – сказала она, – если вам так нравится Медиокритский, так вам лучше выдать за него вашу дочь.

– Нет-с, он не может быть женихом моей дочери, – произнесла с ударением исправница.

– Почему же вы думаете, что он может быть моим женихом? – спросила гордо и вся вспыхнув Настенька.

– Ах, боже мой! – воскликнула исправница. – Я ничего не думала, а исполнила только безотступную просьбу молодого человека. Стало быть, он имел какое-нибудь право, и ему была подана какая-нибудь надежда – я этого не знаю!

Настенька вышла из себя; на глазах ее навернулись слезы.

– Подавали ему надежду, вероятно, вы, а не я, и я вас прошу не беспокоиться о моей судьбе и избавить меня от ваших сватаний за кого бы то ни было, – проговорила она взволнованным голосом и проворно ушла.

Исправница насмешливо посмотрела ей вслед.

– И ваш ответ, Петр Михайлыч, будет тот же? – спросила она.

– Совершенно тот же, Марья Ивановна, – отвечал Петр Михайлыч, – и мне только очень жаль, что вы изволили принять на себя это обидное для нас поручение.

– А я, конечно, еще более сожалею об этом, потому что точно надобно быть очень осторожной в этих случаях и хорошо знать, с какими людьми будешь иметь дело, – проговорила исправница, порывисто завязывая ленты своей шляпы и надевая подкрашенное боа, и тотчас же уехала.

Петр Михайлыч проводил ее до лакейской и возвратился к дочери, которая сидела и плакала.

– Это что, Настенька, плакать изволишь?.. Что это?.. Как тебе не стыдно! Что за малодушие!

– Это, папенька, ужасно! Она скоро приедет лакея своего сватать за меня. Ее бы выгнать надобно!

– Ну, ну, перестань! Какая вспыльчивая! Всяким вздором огорчаешься. Давай-ка лучше читать! – говорил старик.

Но Настенька и читать не могла.

Случай этот окончательно разъединил ее с маленьким уездным мирком; никуда не выезжая и встречаясь только с знакомыми в церкви или на городском валу, где гуляла иногда в летние вечера с отцом, или, наконец, у себя в доме, она никогда не позволяла себе поклониться первой и даже на вопросы, которые ей делали, отмалчивалась или отвечала односложно и как-то неприязненно.

III

Недели через три после состояния приказа, вечером, Петр Михайлыч, к большому удовольствию капитана, читал историю двенадцатого года Данилевского[18], а Настенька сидела у окна и задумчиво глядела на поляну, облитую бледным лунным светом. В прихожую пришел Гаврилыч и начал что-то бунчать с сидевшей тут горничной.

– Что ты, гренадер, зачем пришел? – крикнул Петр Михайлыч.

– К вама-тка, – отвечал Терка, выставив свою рябую рожу в полурастворенную дверь. – Сматритель новый приехал, ачителей завтра к себе в сбор на фатеру требует в девятом часу, чтоб биспременно в мундерах были.

– Эге, вот как! Малый, должно быть, распорядительный! Это уж, капитан, хоть бы по-вашему, по-военному; так ли, а? – произнес Петр Михайлыч, обращаясь к брату.

– Да-с, точно, – отвечал тот глубокомысленно.

– Где же господин новый смотритель остановился? – продолжал Петр Михайлыч.

– На постоялом, у Афоньки Беспалого, – отвечал с какой-то досадой Терка.

– Да ты сам у него был?

– Нету, не был; мне пошто! Хозяйка Афоньки, слышь, прибегала, чтоб завтра в девятом часу в мундерах биспременно – вот что!

– Так поди обвести!

– Сегодня нету, не пойду: не достучишься… поздно; завтра обвещу.

– И то пожалуй; только, смотри, пораньше; и скажи господам учителям, чтоб оделись почище в мундиры и ко мне зашли бы: вместе пойдем. Да уж и сам побрейся, сапоги валяные тоже сними, а главное – щи твои, – смотри ты у меня!

– Ну-ко, заладил, щи да щи! Только и речей у тебя! – проговорил инвалид и, хлопнув сердито дверью, ушел.

Петр Михайлыч усмехнулся ему вслед.

Впрочем, Гаврилыч на этот раз исполнил возложенное на него поручение с не совсем свойственною ему расторопностью и еще до света обошел учителей, которые, в свою очередь, собрались к Петру Михайлычу часу в седьмом. Все они были более или менее под влиянием некоторого чувства страха и беспокойства. Комплект их был, однако, неполный: знакомый нам учитель истории, Экзархатов; учитель математики, Лебедев, мужчина вершков одиннадцати ростом, всегда почти нечесаный, редко бритый и говоривший всегда сильно густым басом. Дикообразной его наружности как нельзя больше в нем соответствовала непреоборимая страсть к звероловству. Он был, конечно, в целой губернии первый стрелок и замечательнейший охотник на медведей, которых собственными руками на своем веку уложил более тридцати штук. С капитаном Лебедев находился, по случаю охоты, в теснейшей дружбе. Третий учитель был преподаватель словесности Румянцев. В противоположность Лебедеву, это был маленький, худенький молодой человек, весьма робкого и, вследствие этого, склонного поподличать характера, вместе с тем большой говорун и с сильной замашкой пофрантить: вечно с завитым а-ла-коком и висками. Он было и в настоящем случае прилетел в своем, по его мнению, очень модном пальто и в цветном шарфе, завязанном огромным бантом, но, по совету Петра Михайлыча, тотчас же проворно сбегал домой и переоделся в мундир.

Петр Михайлыч тоже оделся в полную форму.

---

[18] …историю двенадцатого года Данилевского. – Имеется в виду книга русского военного историка А.И.Михайловского-Данилевского (1790–1848) «Описание Отечественной войны в 1812 году».

– Ну, вот мы и в параде. Что ж? Народ хоть куда! – говорил он, осматривая себя и других. – Напрасно только вы, Владимир Антипыч, не постриглись: больно у вас волосы торчат! – отнесся он к учителю математики.

– Черт их знает, проклятые, неимоверно шибко растут; понять не могу, что за причина такая. Сегодня ночь, признаться, в шалаше, за тетеревами просидел, постричься-то уж и не успел, – отвечал Лебедев, приглаживая голову.

– Да, да, вот так, хорошо, – ободрял его Петр Михайлыч и обратился к Румянцеву: – Ну, а ты, голубчик, Иван Петрович, что?

– Ничего-с! Маменька только наказывала: «Ты, говорит, Ванюшка, не разговаривай много с новым начальником: как еще это, не знав тебя, ему понравится; неравно слово выпадет, после и не воротишь его», – простодушно объяснил преподаватель словесности.

– Конечно, конечно, – подтвердил Петр Михайлыч и потом, пропев полушутливым тоном: «Ударил час и нам расстаться…», – продолжал несколько растроганным голосом: – Всем вам, господа, душевно желаю, чтоб начальник вас полюбил; а я, с своей стороны, был очень вами доволен и отрекомендую вас всех с отличной стороны.

– Мы бы век, Петр Михайлыч, желали служить с вами, – проговорил Лебедев.

– Именно век. Я вот и по недавнему моему служению, а всем говорю, что, приехав сюда, не имел ни с извозчиком чем разделаться, ни платья на себе приличного, и все вашими благодеяниями сделалось… – отрапортовал Румянцев, подняв глаза кверху.

Экзархатов ничего не проговорил, а только тяжело вздохнул.

Все эти отзывы учителей, видимо, были очень приятны старику.

– Благодарю вас, если вы так меня понимаете, – возразил он. – Впрочем, и я тоже иногда шумел и распекал; может быть, кого-нибудь и без вины обидел: не помяните лихом!

– Кроме добра, нам вас нечем поминать, – сказал Лебедев.

– От вас это были только родительские наставления, – подхватил Румянцев.

Петр Михайлыч совсем расчувствовался.

– Очень, очень вам благодарен, друзья мои, и поверьте, что теперь выразить не могу, а вполне все чувствую. Дай бог, чтоб и при новом начальнике вашем все шло складно да ладно.

Говоря это, он старался смигнуть навернувшиеся на глазах слезы.

Экзархатов, все ниже и ниже потуплявший голову, вдруг зарыдал на весь дом и убежал в угол.

– Полноте, полноте! Что это? Не стыдно ли вам? Добро мне, старому человеку, простительно… Перестаньте, – сказал Петр Михайлыч, едва удерживаясь от рыданий. – Грядем лучше с миром! – заключил он торжественно и пошел впереди своих подчиненных.

На дворе у Афоньки Беспалого наши ученые мужи встретили саму хозяйку, здоровеннейшую бабу в ситцевом сарафане. Она тащила, ухватив за ушки, огромную лоханку с помоями, которую, однако, тотчас же оставила и поклонилась, проговоря:

– Здравствуйте, сударики, здравствуйте.

– Нельзя ли, моя милая, доложить господину Калиновичу, что господа учителя пришли представиться, – сказал ей Петр Михайлыч.

– Сейчас, сударики, сейчас пошлю паренька моего к нему, а вы подьте пока в горенку, обождите: он говорил, чтоб в горенке обождать.

Петр Михайлыч и учителя вошли в горенку, в которой нашли дверь в соседнюю комнату очень плотно притворенною. Ожидали они около четверти часа; наконец, дверь отворилась, Калинович показался. Это был высокий молодой человек, очень худощавый, с лицом умным, изжелта-бледным. Он был тоже в новом, с иголочки, хоть и не из весьма тонкого сукна мундире, в пике безукоризненной белизны жилете, при шпаге и с маленькой треугольной шляпой в руках.

Петр Михайлыч начал:

– Рекомендую себя: предместник ваш, коллежский асессор Годнев.

Калинович подал ему конец руки.

– Позвольте мне представить господ учителей, – добавил старик.

Калинович слегка нагнул голову.

– Господин Экзархатов, преподаватель истории, – продолжал Петр Михайлыч.

– Из какого заведения? – спросил Калинович.

– С словесного факультета Московского университета, – отвечал своим печальным голосом Экзархатов.

– Кончили курс?

– Со второго курса.

– Превосходно знают свой предмет; профессорской кафедры по своим познаниям достойны, – вмешался Годнев. – Может быть, даже вы знакомы по университету? Судя по летам, должно быть одного времени.

– Нас там много! – возразил Калинович.

Экзархатов поднял на него немного глаза и снова потупился. Он очень хорошо знал Калиновича по университету, потому что они были одного курса и два года сидели на одной лавке; но тот, видно, нашел более удобным отказаться от знакомства с старым товарищем.

– Господин Лебедев, учитель математики, – продолжал Годнев.

– Из какого заведения? – повторил опять Калинович.

– Из вольнопрактикующих землемеров, – отвечал лаконически Лебедев.

Калинович обратил глаза на Румянцева, который, не дождавшись вопроса и приложив руки по швам, проговорил без остановки:

– Воспитанник Московского воспитательного дома, выпущен первоначально в качестве домашнего учителя музыки; но, так как имею семейство, пожелал поступить в коронную службу.

– Все здешние господа учителя отличаются познаниями, добронравственностью и усердием… – вмешался Петр Михайлыч.

Калинович слегка улыбнулся; у старика не свернулось это с глазу.

– Я говорю таким манером, – продолжал он, – не относя к себе ничего; моя песня пропета: я не искатель фортуны; и говорю собственно для них, чтоб вы их снискали вашим покровительством. Вы теперь человек новый: ваша рекомендация перед начальством будет для них очень важна.

– Я почту для себя приятным долгом… – проговорил Калинович и потом прибавил, обращаясь к Петру Михайлычу: – Не угодно ли садиться? – а учителям поклонился тем поклоном, которым обыкновенно начальники дают знать подчиненным: «можете убираться»; но те сначала не поняли и не трогались с места.

– Я вас, господа, не задерживаю, – проговорил Калинович.

Экзархатов первый пошел, а за ним и прочие, Румянцев, впрочем, приостановился в дверях и отдал самый низкий поклон. Петр Михайлыч нахмурился: ему было очень неприятно, что его преемник не только не обласкал, но даже не посадил учителей. Он и сам было хотел уйти, но Калинович повторил свою просьбу садиться и сам даже пододвинул ему стул.

– Очень, очень все это хорошие люди, – начал опять, усевшись, старик.

Калинович как будто не слышал этого и, помолчав немного, спросил:

– А что, здесь хорошее общество?

– Хорошее-с… Здесь чиновники отличные, живут между собою согласно; у нас ни ссор, ни дрязг нет; здешний город исстари славится дружелюбием.

– И весело живут?

– Как же-с! Съезжаются иногда друг к другу, веселятся.

– Не можете ли вы мне назвать некоторых лиц?

– Отчего ж не могу? Только кого именно вам угодно?

– Городничий есть?

– Есть: Феофилакт Семеныч Кучеров, ветеран двенадцатого года, старик препочтенный.

– Семейный?

– Даже очень большое имеет семейство.

– Потом?

– Потом-с, пожалуй, исправник с супругой; стряпчий, молодой человек, холостой еще, но скоро женится на этой, вот, городнической дочери.

– А почтмейстер?

– Как же-с, и почтмейстер есть, по только наш брат, старик уж, домосед большой.

– Это все чиновники; а помещики? – спросил Калинович.

– Помещиков здесь постоянно живущих всего только одна генеральша Шевалова.

– Богатая?

– С состоянием; по слухам, миллионерка и, надобно сказать, настоящая генеральша: ее здесь так губернаторшей и зовут.

– Молодая еще женщина?

– Нет, старушка-с, имеет дочь на возрасте – девицу.

– А скажите, пожалуйста, – сказал Калинович после минутного молчания, – здесь есть извозчики?

– Вы, вероятно, говорите про городских извозчиков, так этаких совершенно нет, – отвечал Петр Михайлыч, – не для кого, – а потому, в силу правила политической экономии, которое и вы, вероятно, знаете: нет потребителей, нет и производителей.

Калинович призадумался.

– Это немного досадно: я думал сегодня сделать несколько визитов, – проговорил он.

– А если думали, так о чем же вам и беспокоиться? – возразил Петр Михайлыч. – Позвольте мне, для первого знакомства, предложить мою колесницу. Лошадь у меня прекрасная, дрожки тоже, хоть и не модного фасона, но хорошие. У меня здесь многие помещики, приезжая в город, берут.

– Вы меня много обяжете; но мне совестно…

– Что тут за совесть? Чем богаты, тем и рады.

– Благодарю вас.

– А я вас благодарю; только тут, милостивый государь, у меня есть одно маленькое условие: кто моего коня берет, тот должен у меня хлеба-соли откушать, обедать: это плата за провоз.

– Самая приятная плата, – отвечал с улыбкою Калинович, – только я боюсь, чтоб мне не задержать вас.

– Располагайте вашим временем, как вам угодно, – отвечал Петр Михайлыч, вставая. – До приятного свиданья, – прибавил он, расшаркиваясь.

Калинович подал ему всю руку и вежливо проводил до самых дверей.

Всю дорогу старик шел задумчивее обыкновенного и по временам восклицал:

– Эх-ма, молодежь, молодежь! Ума у вас, может быть, и больше против нас, стариков, да сердца мало! – прибавил он, всходя на крыльцо, и тотчас, по обыкновению, предуведомил о госте к обеду Палагею Евграфовну.

– Знаю уж, – проговорила она и побежала на погреб.

Переодевшись и распорядившись, чтоб ехала к Калиновичу лошадь, Петр Михайлыч пошел в гостиную к дочери, поцеловал ее, сел и опять задумался.

– Что, папенька, видели нового смотрителя? – спросила Настенька.

– Видел, милушка, имел счастье познакомиться, – отвечал Петр Михайлыч с полуулыбкой.

– Молодой?

– Молодой!.. Франт!.. И человек, видно, умный!.. Только, кажется, горденек немного. Наших молодцов точно губернатор принял: свысока… Нехорошо… на первый раз ему не делает это чести.

– Что ж такое, если это в нем сознание собственного достоинства? Учителя ваши точно добрые люди – но и только! – возразила Настенька.

– Какие бы они ни были люди, – возразил, в свою очередь, Петр Михайлыч, – а все-таки ему не следовало поднимать носа. Гордость есть двух родов: одна благородная – это желание быть лучшим, желание совершенствоваться; такая гордость – принадлежность великих людей: она подкрепляет их в трудах, дает им силу поборать препятствия и достигать своей цели. А эта гордость – поважничать перед маленьким человеком – тьфу! Плевать я на нее хочу; зачем она? Это гордость глупая, смешная.

– Зачем же вы звали его обедать, если он гордец? – спросила Настенька.

– А затем, что хочу с ним об учителях поговорить. Надобно ему внушить, чтоб он понимал их настоящим манером, – отвечал Петр Михайлыч, желая несколько замаскировать в себе простое чувство гостеприимства, вследствие которого он всех и каждого готов был к себе позвать обедать, бог знает зачем и для чего.

– По крайней мере я бы лошадь не послала: пускай бы пришел пешком, – заметила Настенька.

– Перестань пустяки говорить! – перебил уж с досадою Петр Михайлыч. – Что лошади сделается! Не убудет ее. Он хочет визиты делать: не пешком же ему по городу бегать.

– Визиты делать! Вчера приехал, а сегодня хочет визиты делать! – воскликнула с насмешкой Настенька.

– Что же тут удивительного? Это хорошо.

– Перед учителями важничает, а перед другими, не успел приехать, бежит кланяться; он просто глуп после этого!

– Вот тебе и раз! Экая ты, Настенька, смелая на приговоры! Я не вижу тут ничего глупого. Он будет жить в городе и хочет познакомиться со всеми.

– Стоит, если только он умный человек!

– Отчего ж не стоит? Здесь люди все почтенные… Вот это в тебе, душенька, очень нехорошо, и мне весьма не нравится, – говорил Петр Михайлыч, колотя пальцем по столу. – Что это за нелюбовь такая к людям! За что? Что они тебе сделали?

– В моей любви, я думаю, никто не нуждается.

– В любви нуждается бог и собственное сердце человека. Без любви к себе подобным жить на свете тяжело и грешно! – произнес внушительно старик.

Настенька отвечала ему полупрезрительной улыбкой.

На эту тему Петр Михайлыч часто и горячо спорил с дочерью.

IV

В двенадцать часов Калинович, переодевшись из мундира в черный фрак, в черный атласный шарф и черный бархатный жилет и надев сверх всего новое пальто, вышел, чтоб отправиться делать визиты, но, увидев присланный ему экипаж, попятился назад: лошадь, о которой Петр Михайлыч так лестно отзывался, конечно, была, благодаря неусыпному вниманию Палагеи Евграфовны, очень раскормленная; но огромная, жирная голова, отвислые уши, толстые, мохнатые ноги ясно свидетельствовали о ее солидном возрасте, сырой комплекции и кротком нраве. Сбруя, купленная тоже собственными руками экономки, отличалась более прочностью, чем изяществом. Дрожки на огромных колесах, высочайших рессорах и с неуклюжими козлами принадлежали к разряду тех экипажей, которые называются адамовскими. И, в заключение всего, кучером сидел уродливый Гаврилыч, закутанный в серый решменский, с огромного мужика армяк, в нахлобученной серой поярковой круглой шляпе, из-под которой торчала только небольшая часть его морды и щетинистые усы. При появлении Калиновича Терка снял шляпу и поклонился.

– Ты, верно, лакей? – спросил Калинович.

– Салдат, ваше благородие, отставной салдат, – отвечал Терка и опять поклонился.

– Зачем же ты стриженый, когда в кучера нанимаешься?

– Нет, ваше благородие, я не в кучерах: я ачилище стерегу. Палагея Евграфовна меня послала – парень ихний хворает. «Поди, говорит, Гаврилыч, съезди». Вот что, ваше благородие, – отрапортовал инвалид и в третий раз поклонился. Он, видимо, подличал перед новым начальником.

Молодой смотритель находился некоторое время в раздумье: ехать ли ему в таком экипаже, или нет? Но делать нечего, – другого взять было негде. Он сделал насмешливую гримасу и сел, велев себя везти к городничему, который жил в присутственных местах.

Войдя в первую комнату, Калинович увидел чрез растворенную дверь даму с распущенными волосами, в одной кофте и юбке; при его появлении дама воскликнула:

– Что это, батюшки, что это все шляются!.. – И, как пава, поплыла в дальние комнаты.

Калинович остался один; он начал слегка стучать ногами. Явилась толстая горничная девка в домотканом платье и босиком.

– Пошто вы? – спросила она.

– Принимают? – сказал Калинович.

Девка выпучила на него глаза.

– Ольгунька!.. Пострел!.. С кем ты тут болтаешь? – послышался голос городничего.

Девка ушла к барину.

– Пришел какой-то, не знаю, – отвечала она.

– Да кто такой?

– Не видывала, барин, не знаю.

– Поди скажи, коли что нужно, в полицию бы пришел; а теперь некогда, – решил городничий.

– Подьте, теперь некогда, ужо в полицию велел прийти, – повторила девка, возвратившись.

Калинович усмехнулся.

– Потрудись отдать карточку, – сказал он, подавая два билетика с загнутыми углами.

– Барину, что ли? – спросила девка.

– Барину, – отвечал Калинович и ушел.

«Это звери, а не люди!» – проговорил он, садясь на дрожки, и решился было не знакомиться ни с кем более из чиновников; но, рассудив, что для парадного визита к генеральше

было еще довольно рано, и увидев на ближайшем доме почтовую вывеску, велел подвезти себя к выходившему на улицу крылечку. Почтмейстер, видно, жил крепко: дверь у него одного в целом городе была заперта и приделан был к ней колокольчик. Калинович по крайней мере раз пять позвонил, наконец на лестнице послышались медленные шаги, задвижка щелкнула, и в дверях показался высокий, худой старик, с испитым лицом, в белом вязаном колпаке, в круглых очках и в длинном, сильно поношенном сером сюртуке.

– У себя господин почтмейстер? – спросил Калинович.

– Я самый, сударь, почтмейстер. Чем могу служить? – отвечал старик протяжным, ровным и сиповатым голосом.

Калинович объяснил, что приехал с визитом.

– А!.. Очень вам, сударь, благодарен. Милости прошу, – сказал почтмейстер и повел своего гостя через длинную и холодную залу, на стенах которой висели огромные масляной работы картины, до того тусклые и мрачные, что на первый взгляд невозможно было определить их содержание. На всех почти окнах стоял густо разросшийся герань, от которого распространялся сильный, удушливый запах. В следующей комнате, куда привел хозяин гостя своего, тоже висело несколько картин такого же колорита; во весь почти передний угол стояла кивота с образами; на дубовом некрашеном столе лежала раскрытая и повернутая корешком вверх книга, в пергаментном переплете; перед столом у стены висело очень хорошей работы костяное распятие; стулья были некрашеные, дубовые, высокие, с жесткими кожаными подушками. Посадив Калиновича, почтмейстер уставил на него сквозь очки глаза и молчал. Калинович тоже не заговаривал.

– Вы изволили, стало быть, поступить на место господина Годнева? – спросил, наконец, хозяин.

– Да-с, – отвечал Калинович.

– Так, сударь, так; место ваше хорошее: предместник ваш вел жизнь роскошную и состоянье еще приобрел… Хорошее место!.. – заключил он протяжно.

Калинович сделал гримасу.

– А напредь сего какую службу имели? – спросил, помолчав, хозяин.

– Я всего два года вышел из Московского университета и не служил еще.

– Из Московского университета изволили выйти? Знаю, сударь, знаю: заведение ученое; там многие ученые мужи получили свое воспитание. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! – проговорил почтмейстер, подняв глаза кверху.

Некоторое время опять продолжалось молчание.

– А из Москвы давно ли изволили отбыть? – снова заговорил он.

– Я прямо оттуда приехал.

– Так, сударь, так; это выходит очень недавнее время. Желательно бы мне знать, какие идут там суждения, так как пишут, что на горизонте нашем будет проходить комета.

– Что ж? Это очень обыкновенное явление; путь ее исчислен заранее.

– Знаю, сударь, знаю; великие наши астрономы ясно читают звездную книгу и аки бы пророчествуют. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! – сказал опять старик, приподняв глаза кверху, и продолжал как бы сам с собою. – Знамения небесные всегда предшествуют великим событиям; только сколь ни быстр разум человека, но не может проникнуть этой тайны, хотя уже и многие другие мы имеем указания.

– Какие же указания и на что именно? – спросил Калинович, которого хозяин начал интересовать.

– Многие имеем указания, – повторил тот, уклоняясь от прямого ответа, – откапываются поглощенные землей города, аки бы свидетели тленности земной. Читал я, сударь, в нынешнем году, в «Московских ведомостях», что английские миссионеры проникли уж в эфиопские степи…

– Может быть, – сказал Калинович.

– Да, сударь, проникли, – повторил почтмейстер. – Сказывал мне один достойный вероятия человек, что в Америке родился уродливый ребенок. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! Многое, сударь, нам свидетельствует, очень многое, а паче всего уменьшение любви! – продолжал он.

Калинович стал смотреть на старика еще с большим любопытством.

– Вы много читаете? – спросил он.

– Нет, сударь, немного; мало нынче книг хороших попадается, да и здоровьем очень слаб: седьмой год страдаю водяною в груди. Горе меня, сударь, убило: родной сын подал на меня прошение, аки бы я утаил и похитил состояние его матери. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! – заключил почтмейстер и глубоко задумался.

Калинович встал и начал раскланиваться.

– Прощайте, сударь, – проговорил хозяин, тоже вставая. – Очень вам благодарен. Предместник ваш снабжал меня книжками серьезного содержания: не оставьте и вы, – продолжал он, кланяясь. – Там заведено платить по десяти рублей в год: состояние я на это не имею, а уж если будет благосклонность ваша обязать меня, убогого человека, безвозмездно…

Калинович изъявил полную готовность и пошел.

– Прощайте, сударь, прощайте; очень вам благодарен, – говорил старик, провожая его и захлопывая дверь, которую тотчас же и запер задвижкой.

Квартира генеральши, как я уже заметил, была первая в городе. Кругом всего дома был сделан из дикого камня тротуар, который в продолжение всей зимы расчищался от снега и засыпался песком в тех видах, что за неимением в городе приличного места для зимних прогулок генеральша с дочерью гуляла на нем между двумя и четырьмя часами. На окнах висели огромные полосатые маркизы[19]. Внутреннее убранство соответствовало наружному. Из больших сеней шла широкая, выкрашенная под дуб лестница, устланная ковром и уставленная по бокам цветами. При входе Калиновича лакей, глуповатый из лица, но в ливрее с галунами, вытянулся в дежурную позу и на вопрос: «Принимают?» – бойко отрезал: «Пожалуйте-с», – и побежал вверх с докладом. Калинович между тем приостановился перед зеркалом, поправил волосы, воротнички, застегнул на лишнюю пуговицу фрак и пошел.

Генеральша сидела, по обыкновению, на наугольном диване, в полулежачем положении.

Мамзель Полина сидела невдалеке и рисовала карандашом детскую головку. Калинович представился на французском языке. Генеральша довольно пристально осмотрела его своими мутными глазами и, по-видимому, осталась довольна его наружностью, потому что с любезною улыбкою спросила:

– Вы помещик здешний?

– Нет-с, – отвечал Калинович, взглянув вскользь на Полину, которая поразила его своим болезненным лицом и странностью своей фигуры.

– Верно, по каким-нибудь делам сюда приехали? – продолжала генеральша. Она сочла Калиновича за приехавшего из Петербурга чиновника, которого ждали в то время в город.

– Нет, я здесь буду служить, – отвечал тот.

– Служить? – сказала генеральша тоном удивления. – Какую же вы здесь службу имеете? – прибавила она.

– Я определен смотрителем уездного училища.

Мать и дочь переглянулись.

– Что ж это за служба? – сказала первая.

– Это, верно, на место этого старичка… – заметила Полина.

– Да-с, – отвечал Калинович.

---

[19] Маркиза – наружный холщовый или парусиновый навес над окнами для защиты от солнца.

Мать и дочь опять переглянулись. Генеральша потупилась.

Полина совсем почти прищурила глаза и начала рисовать. Калинович догадался, что объявлением своей службы он уронил себя в мнении своих новых знакомых, и, поняв, с кем имеет дело, решился поправить это.

– Мне еще в первый раз приходится жить в уездном городе, и я совсем не знаю провинциальной жизни, – сказал он.

– Скучно здесь, – проговорила генеральша как бы нехотя.

– Общество здесь, кажется, немногочисленно?

– Кажется.

– Оно состоит только из одних чиновников?

– Право, не знаю.

– Но ваше превосходительство изволите постоянно жить здесь? – заметил Калинович.

– Я живу здесь по моим делам и по моей болезни, чтоб иметь доктора под руками. Здесь, в уезде, мое имение, много родных, хороших знакомых, с которыми я и видаюсь, – проговорила генеральша и вдруг остановилась, как бы в испуге, что не много ли лишних слов произнесла и не утратила ли тем своего достоинства.

– Я с большим сожалением оставил Москву, – заговорил опять Калинович. – Нынешний год, как нарочно, в ней было так много хорошего. Не говоря уже о живых картинах, которые прекрасно выполняются, было много замечательных концертов, был, наконец, Рубини.

– Он там очень недолго был, два или три концерта дал, – заметила Полина.

– И какие же эти концерты? Обрывки какие-нибудь!.. Москву всегда потчуют остаточками… Мы его слышали в Петербурге в полной опере, – сказала генеральша.

– Он пел лучшие свои арии, и Москва была в восторге, – возразил Калинович.

– Что ж Москва? Москва всегда и всем готова восхищаться.

– Точно так же, как и Петербург. Москва еще, мне кажется, разумнее в этом случае.

– Как можно сравнить: Петербург и Москва!.. Петербург – чудо как хорош, а Москвы… я решительно не люблю; мы там жили несколько зим и ужасно скучали.

– Это личное мнение вашего превосходительства, против которого я не смею и спорить, – сказал Калинович.

– Нет, это не мое личное мнение, – возразила спокойным голосом генеральша, – покойный муж мой был в столицах всей Европы и всегда говорил, – ты, я думаю, Полина, помнишь, – что лучше Петербурга он не видал.

– А вы сами жили в Петербурге? – отнеслась Полина к Калиновичу.

– Я даже не бывал там, – отвечал тот.

Мать и дочь усмехнулись.

– Как же вы его знаете, когда не бывали? Я этого не понимаю, – заметила Полина.

– И я тоже, – подтвердила мать.

Калинович ничего на это не возражал.

Генеральша и дочь постоянно высказывали большую симпатию к Петербургу и нелюбовь к Москве. Все тут дело заключалось в том, что им действительно ужасно нравились в Петербурге модные магазины, торцовая мостовая, прекрасные тротуары и газовое освещение, чего, как известно, нет в Москве; но, кроме того, живя в ней две зимы, генеральша с известною целью давала несколько балов, ездила почти каждый раз с дочерью в Собрание, причем рядила ее до невозможности; но ни туалет, ни таланты мамзель Полины не произвели ожидаемого впечатления: к ней даже никто не присватался.

В остальную часть визита мать и дочь заговорили между собой о какой-то кузине, от которой следовало получить письмо, но письма не было. Калинович никаким образом не мог пристать к этому семейному разговору и уехал.

– Кто это такой? – сказала генеральша.

– Смотритель, мамаша! – отвечала Полина.

– Какая дерзость: вдруг является, знакомится… Очень мне нужно!

– Он недурно произносит по-французски, – заметила дочь.

– Кто ж нынче не говорит по-французски? По этому нельзя судить, кто он и что он за человек. Он бы должен был попросить кого-нибудь представить себя; по крайней мере я знала бы, кто его рекомендует. А все наши люди!.. Когда я их приучу к порядку! – проговорила генеральша и дернула за сонетку.

Вошел худощавый дворецкий.

– Кто сегодня дежурный? – спросила госпожа.

– Семен, ваше превосходительство, – отвечал тот.

– Позови ко мне Семена.

Семен явился.

– Ты, Семенушка, всегда в своем дежурстве наделаешь глупостей. Если ты так несообразителен, то старайся больше думать. Принимаешь всех, кто только явится. Сегодня пустил бог знает какого-то господина, совершенно незнакомого.

– Вашему превосходительству… – заговорил было лакей.

– Пожалуйста, не оправдывайся. У меня очень много твоих вин записано, и ты принудишь меня принять против тебя решительные меры. Ступай и будь умней!

При словах «решительные меры» лакей весь вспыхнул.

Генеральша при всех своих личных объяснениях с людьми говорила всегда тихо и ласково; но когда произносила фразу: решительные меры, то редко не приводила их в исполнение.

V



Палагея Евграфовна что-то более обыкновенного хлопотала для приема нового гостя и, кажется, была намерена показать свое хозяйство во всем его блеске. Она вынула лучшее столовое белье, вымытое, конечно, белее снега и выкатанное так, хоть сейчас вези на выставку; вынула, наконец, граненый хрусталь, принесенный еще в приданое покойною женою Петра Михайлыча, но хрусталь еще очень хороший, который употребляется только раза два в год: в именины Петра Михайлыча и Настенькины, который во все остальное время экономка хранила в своей собственной комнате, в особом шкапу, и пальцем никому не позволила до него дотронуться. Обед тоже, по-видимому, приготовлялся не совсем заурядный. Приготовленные большая вилка и лопаточка из кленового дерева заставляли сильно подозревать, что вряд ли не готовилась разварная стерлядь. Настеньке Палагея Евграфовна страшно надоела, приступая к ней целое утро, чтоб она надела вместо своего вседневного холстинкового платья черное шелковое; и как та ни сердилась, экономка поставила на своем. Во всем этом старая девица имела довольно отдаленную цель: Петр Михайлыч, когда вышло его увольнение, проговорил с ней: «Вот на мое место определен молодой смотритель; бог даст, приедет да на Настеньке и женится».

– Ох, как бы это хорошо! Как бы это было хорошо! – отвечала экономка.

Она питала сильное желание выдать Настеньку поскорей замуж, и тем более за смотрителя, потому что, судя по Петру Михайлычу, она твердо была убеждена, что если уж смотритель, так непременно должен быть хороший человек.

В два часа капитан состоял налицо и сидел, как водится, молча в гостиной; Настенька перелистывала «Отечественные записки»; Петр Михайлыч ходил взад и вперед по зале, посматривая с удовольствием на парадно убранный стол и взглядывая по временам в окно.

– Что ж, папенька, ваш смотритель не едет? Скучно его ждать! – сказала Настенька.

– Погоди, душенька подъедет! Засиделся, верно, где-нибудь, – отвечал Петр Михайлыч. – Едет! – проговорил он, наконец.

Настенька, по невольному любопытству, взглянула в окно; капитан тоже привстал и посмотрел. Терка, желая на остатках потешить своего начальника, нахлестал лошадь, которая, не привыкнув бегать рысью, заскакала уродливым галопом; дрожки забренчали, засвистели, и все это так расходилось, что возница едва справил и попал в ворота. Калинович, все еще под влиянием неприятного впечатления, которое вынес из дома генеральши, принявшей его, как видели, свысока, вошел нахмуренный.

– Милости просим, милости просим, Яков Васильич, – говорил Петр Михайлыч, встречая гостя и вводя его в гостиную.

– Это вот-с мой родной брат, капитан армии в отставке, а это дочь моя Анастасия, – прибавил он.

Капитан расшаркался… Настенька слегка привстала; Калинович отдал им вежливый, но холодный поклон.

– Не угодно ли вам водочки выпить? – продолжал Петр Михайлыч, указывая на закуску. – Это вот запеканка, это домашний настой; а тут вот грибки да рыжички; а это вот архангельские селедки, небольшие, но, рекомендую, превкусные.

– Позвольте мне лучше покурить, – проговорил Калинович.

– Сделайте милость! Господин капитан, ваша очередь угощать. Сам я мало курю; а вот у меня великий любитель и мастер по табачной части господин капитан!

Капитан начал было выдувать свою коротенькую трубку.

– Благодарю вас: у меня есть с собой, – возразил Калинович, вынимая папироску из портсигара.

Капитан отложил трубку, но присек огня к труту собственного производства и, подав его на кремне гостю, начал с большим вниманием осматривать портсигар.

– Хорошая вещь; вероятно, кожаная, – проговорил он.

– Her, papier macha, – отвечал Калинович.

Капитан совершенно не понял этого слова, однако не показал того.

– А! Вероятно, английского изобретения! – произнес он глубокомысленно.

– Не знаю, право.

– Английская, – решил капитан.

До всех табачных принадлежностей он был большой охотник и считал себя в этом отношении большим знатоком.

– Где же вы изволили побывать?.. Кого видели? С кем познакомились? – начал Петр Михайлыч.

– Я был не у многих, но… и о том сожалею! – отвечал Калинович.

– Это как? – спросил Петр Михайлыч с удивлением.

Настенька посмотрела на молодого человека довольно пристально; капитан тоже взглянул на него.

– Во-первых, городничий ваш, – продолжал Калинович, – меня совсем не пустил к себе и велел ужо вечером прийти в полицию.

– Ха, ха, ха! – засмеялся Петр Михайлыч добродушнейшим смехом. – Этакой смешной ветеран! Он что-нибудь не понял. Что делать?.. Сим-то вот занят больше службой; да и бедность к тому: в нашем городке, не как в других местах, городничий не зажиреет: почти сидит на одном жалованье, да откупщик разве поможет какой-нибудь сотней – другой.

При этих словах на лице Калиновича выразилась презрительная улыбка.

– А семейство тоже большое, – продолжал Петр Михайлыч, ничего этого не заметивший. – Вон двое мальчишек ко мне в училище бегают, так и смотреть жалко: ощипано, оборвано, и на дворянских-то детей не похожи. Супруга, по несчастию, родивши последнего ребенка, не побереглась, видно, и там молоко, что ли, в голову кинулось – теперь не в полном рассудке: говорят, не умывается, не чешется и только, как привидение, ходит по дому и на всех ворчит… ужасно жалкое положение! – заключил Петр Михайлыч печальным голосом.

Но молодой смотритель выслушал все это совершенно равнодушно.

– У этого городничего очень хорошенькая дочка, слывет здесь красавицей, – полунасмешливо заметила ему Настенька.

Калинович опять ничего не отвечал и только взглянул на нее.

– Что ж?.. Действительно хорошенькая! – подхватил Петр Михайлыч. – У кого же еще изволили быть? – прибавил он, обращаясь к Калиновичу.

– Еще я был у почтмейстера, – это чудак какой-то!

– Именно чудак, – подтвердил Петр Михайлыч, – не глупый бы старик, богомольный, а все преставления света боится… Я часто с ним прежде споривал: грех, говорю, искушать судьбы божий, надобно жить честно и праведно, а тут буди его святая воля…

– Он ужасный скупец, – заметила Настенька.

– Почем ты, душа моя, знаешь? – возразил Петр Михайлыч. – А если и действительно скупец, так, по-моему, делает больше всех зла себе, живя в постоянных лишениях.

– Да как же, папенька, только себе делает зло, когда деньги в рост отдает? Ростовщик! А история его с сыном? – перебила Настенька.

– Что ж история его с сыном?.. Кто может отца с детьми судить? Никто, кроме бога! – произнес Петр Михайлыч, и лицо его приняло несколько строгое и недовольное выражение.

Настенька переменила разговор.

– У генеральши вы были? – отнеслась она к Калиновичу.

– Был-с, – отвечал он.

– Это здешний большой свет!

– Кажется.

– А дочь ее видели?

– Не знаю, видел какую-то девицу или даму кривобокую или кривошейку – не разберешь.

– Совершенно без боку – ужасно! – подтвердила Настенька, – и вообразите, у них бывают балы, на которых и я имела счастье быть один раз; и она с этакой наружностью и в бальном платье – невозможно видеть равнодушно.

– Господа! Молодые люди! – воскликнул Петр Михайлыч. – Не смейтесь над телесными недостатками; это все равно, что смеяться над больными – грех!

– Мы и не смеемся, – возразил с усмешкою Калинович, – а напротив, она произвела на меня такое тяжелое и грустное впечатление, от которого я до сих пор не могу освободиться.

– Кушать готово! – перебил Петр Михайлыч, увидев, что на стол уже поставлена миска. – А вы и перед обедом водочки не выпьете? – отнесся он к Калиновичу.

– Нет, благодарю, – отвечал тот.

– Как угодно-с! А мы с капитаном выпьем. Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил – не прикажете ли?.. Приимите! – говорил старик, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану; но только что тот хотел взять, он не дал ему и сам выпил. Капитан улыбнулся… Петр Михайлыч каждодневно делал с ним эту штуку.

– Ну, а уж теперь не обману, – продолжал он, наливая другую рюмку.

– Знаю-с, – отвечал капитан и залпом выпил свою порцию.

Все вышли в залу, где Петр Михайлыч отрекомендовал новому знакомому Палагею Евграфовну. Калинович слегка поклонился ей; экономка сделала ему жеманный книксен.

– Нас, кажется, сегодня хотят угостить потрохами, – говорил Петр Михайлыч, садясь за стол и втягивая в себя запах горячего. – Любите ли вы потроха? – отнесся он к Калиновичу.

– Да, ем, – отвечал тот с несколько насмешливой улыбкой, но, попробовав, начал есть с большим аппетитом. – Это очень хорошо, – проговорил он, – прекрасно приготовлено!

– Художественно-с! – подхватил Петр Михайлыч. – Палагея Евграфовна, честь эта принадлежит вам; кланяемся и благодарим от всей честной компании!

Экономка тупилась, модничала и, по-видимому, отложила свое обыкновение вставать из-за стола. За горячим действительно следовала стерлядь, которой Калинович оказал достодолжное внимание. Соус из рябчиков с приготовленною к нему подливкою он тоже похвалил; но более всего ему понравилась наливка, которой, выпив две рюмки, попросил еще третью, говоря, что это гораздо лучше всяких ликеров.

У Палагеи Евграфовны от удовольствия обе щеки горели ярким румянцем.

После обеда все снова возвратились в гостиную.

– Скажите-ка мне, Яков Васильич, – начал Петр Михайлыч, – что-нибудь о Московском университете. Там, я слышал, нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета?

– Юрист.

– Прекрасный факультет-с!.. Я сам воспитывался в Московском университете, по словесному факультету, и в мое время весьма справедливо и достойно славился Мерзляков. Человек был с светлой головой. Бывало, начнет разбирать Державина построчно, каждое слово. «Вот такой-то, говорит, стих хорош, а такой-то посредственный; вот бы, говорит, как следовало сказать», да и начнет импровизировать стихами. Мы только слушаем, и если б тогда записывать его импровизации, прелестные бы вышли стихотворения, – говорил Петр Михайлыч. – Любопытно мне знать, – продолжал он, подумав, – вспоминают ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважают ли его, как следует.

– Очень, – отвечал Калинович, – особенно как профессора.

– Это делает честь молодому поколению: таких людей забывать не следует! – заключил старик и вздохнул. Несколько рюмок наливки, выпитых за столом, сделали его еще разговорчивее и настроили в какое-то приятно-грустное расположение духа. – Вот мне теперь, на старости лет, – снова начал он как бы сам с собою, – очень бы хотелось побывать в Москве; деньгами только никак не могу сбиться, а посмотрел бы на белокаменную, в университет бы сходил… Пустят, я думаю, старого студента хоть на стены посмотреть. Многие товарищи мои теперь известные литераторы, ученые; в студентах я с ними дружен бывал, оспаривал иногда; ну, а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель; но, так полагаю, что если б я пришел к ним, они бы не пренебрегли мною.

Калинович слушал Петра Михайлыча полувнимательно, но зато очень пристально взглядывал на Настеньку, которая сидела с выражением скуки и досады в лице. Петр Михайлыч по крайней мере в миллионный раз рассказывал при ней о Мерзлякове и о своем желании побывать в Москве. Стараясь, впрочем, скрыть это, она то начинала смотреть в окно, то опускала черные глаза на развернутые перед ней «Отечественные записки» и, надобно сказать, в эти минуты была прехорошенькая.

– Вы что-то такое читаете? – отнесся к ней Калинович.

– Нет, так, покуда перелистываю, – отвечала она.

– А вы любите читать?

– Очень; это единственное для меня развлечение. Нынче я еще меньше читаю, а прежде решительно до обморока зачитывалась.

– Что ж вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературе.

– Больше журналы… – отвечала Настенька.

– Последние годы, – вмешался Петр Михайлыч, – только журналы и читаем… Разнообразно они стали нынче издаваться… хорошо; все тут есть: и для приятного чтения, и полезные сведения, история политическая и натуральная, критика… хорошо-с.

Калинович слегка улыбнулся.

– Вы несколько пристрастны к нашим журналам, – сказал он, – они и сами, я думаю, не предполагают в себе тех достоинств, которые вы в них открыли.

– Не знаю-с, – отвечал Петр Михайлыч, – я говорю, как понимаю. Вот как перебранка мне их не нравится, так не нравится! Помилуйте, что это такое? Вместо того чтоб рассуждать о каком-нибудь вопросе, они ставят друг другу шпильки и стараются, как борцы какие-нибудь, подшибить друг друга под ногу.

– В дельном и честном журнале, если б только он существовал, – начал Калинович, – непременно должно существовать сильное и энергическое противодействие прочим нашим журналам, которые или не имеют никакого направления, или имеют, но фальшивое.

– Так, так! – подтверждал Петр Михайлыч, видимо, не понявший, что именно говорил Калинович. – И вообще, – продолжал он с глубокомысленным выражением в лице, – не знаю, как вы, Яков Васильич, понимаете, а я сужу так, что нынче вообще упадает литература.

Калинович ничего не отвечал, а только вопросительно посмотрел на старика.

– Прежде, – продолжал Петр Михайлыч, – для поэзии брали предметы как-то возвышеннее: Державин, например, писал оду «Бог», воспевал императрицу, героев, их подвиги, а нынче дались эти женские глазки да ножки… Помилуйте, что это такое?

Легкий оттенок насмешки пробежал по лицу Калиновича.

– За нынешней литературой останется большая заслуга: прежде риторически лгали, а нынче без риторики начинают понемногу говорить правду, – проговорил он и мельком взглянул на Настеньку, которая ответила ему одобрительной улыбкой.

– Я этих од решительно читать не могу, – начала она. – Или вот папенька восхищается этим Озеровым. Вообразите себе: Ксения, русская княжна, которых держали взаперти, едет в лагерь к Донскому – как это правдоподобно!

Калинович только усмехнулся. Петр Михайлыч начал колебаться.

– Я моего мнения за авторитет и не выдаю, – начал он, – и даже очень хорошо понимаю, что нынче пишут к чувствам, к жизни нашей ближе, поучают больше в форме сатирической повести – это в своем роде хорошо.

– Даже, полагаю, очень хорошо: гораздо честнее отстаивать слабых, чем хвалить сильных, – сказал Калинович.

– Именно так! – подтвердила Настенька с сияющим в глазах удовольствием.

– Да коли с этой целью, так конечно: кто с этим будет спорить? – согласился и Петр Михайлыч, окончательно разбитый со всех сторон.

– Нынче есть великие писатели, – начала Настенька, – эти трое: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, о которых Белинский так много теперь пишет в «Отечественных записках».

– А вы и критику читаете? – спросил ее Калинович.

– Да, – отвечала она с некоторою гордостью.

– Горячая и умная голова этот господин критик Белинский! – заметил Петр Михайлыч.

– Вы согласны с его взглядом? – спросила Настенька.

– Почти, – отвечал Калинович, – но дело в том, что Пушкина нет уж в живых, – продолжал он с расстановкой, – хотя, судя по силе его таланта и по тому направлению, которое принял он в последних своих произведениях, он бы должен был сделать многое.

– Многое бы, сударь, он сделал! Вдохновенный был поэт!.. Сам Державин наименовал его своим преемником! – подхватил Петр Михайлыч каким-то торжественным тоном.

– Вот как Гоголь… – стал было он продолжать, но вдруг и приостановился.

– Что ж Гоголь?.. – возразила ему дочь.

– Гоголя, по-моему, чересчур уж захвалили, – отвечал старик решительно. – Конечно, кто у него может это отнять: превеселый писатель! Все это у него выходит живо, точно видишь перед собой, все это от души смешно и в то же время правдоподобно; но…

Калинович слегка усмехнулся этому простодушному определению Гоголя.

– Гоголь громадный талант, – начал он, – но покуда с приличною ему силою является только как сатирик, а потому раскрывает одну сторону русской жизни, и раскроет ли ее вполне, как обещает в «Мертвых душах», и проведет ли славянскую деву и доблестного мужа – это еще сомнительно.

– Неужели вам Лермонтов не нравится? – спросила Настенька.

– Лермонтов тоже умер, – отвечал Калинович, – но если б был и жив, я не знаю, что бы было. В том, что он написал, видно только, что он, безусловно, подражал Пушкину, проводил байронизм несколько на военный лад и, наконец, целиком заимствовал у Шиллера в одухотворениях стихий.

– Нет, неправда; Лермонтов для меня чудо как хорош! – сказала Настенька.

– Да, – продолжал Калинович, подумав, – он был очень умный человек и с неподдельно страстной натурой, но только в известной колее. В том, что он писал, он был очень силен, зато уж дальше этого ничего не видел.

Настенька отрицательно покачала головой; она была с этим решительно не согласна.

– Кроме этих трех писателей, мне и другие очень нравятся, – проговорила она после минутного молчания.

– Кто же именно? – спросил Калинович.

– Например, Загоскин[20], Лажечников[21], которого «Ледяной дом» я раз пять прочитала, граф Соллогуб[22]: его «Аптекарша» и «Большой свет» мне ужасно нравятся; теперь Кукольник[23], Вельтман[24], Даль[25], Основьяненко.[26]

При этом перечне лицо Петра Михайлыча сияло удовольствием, оттого что дочь обнаруживала такое знакомство с литературой; но Калинович слушал ее с таким выражением, по которому нетрудно было догадаться, что называемые ею авторы не пользовались его большим уважением.

– Много: всех не перечтешь! – произнес он.

– О, да какой вы, должно быть, строгий и тонкий судья! – воскликнул Петр Михайлыч.

Калинович ничего не отвечал и только потупил глаза в землю.

– А сами вы не пишете ничего? – спросила его вдруг Настенька.

---

[20] Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – русский писатель, автор многочисленных романов, из которых наибольшей известностью пользовались «Юрий Милославский» и «Рославлев».

[21] Лажечников Иван Иванович (1792–1869) – русский писатель, автор популярных в 30–40-е годы XIX в. исторических романов: «Ледяной дом» и др.

[22] Соллогуб Владимир Александрович (1814–1882) – русский писатель, повести которого пользовались в 30–40-х годах большим успехом.

[23] Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – русский писатель, автор многочисленных драм и повестей, проникнутых охранительными крепостническими идеями.

[24] Вельтман Александр Фомич (1800–1870) – русский писатель, автор произведений, в которых идеализировалась патриархальная старина.

[25] Даль Владимир Иванович (1801–1872) – русский писатель, этнограф и языковед, печатавший свои повести и рассказы под псевдонимом Казак Луганский. Примыкал в 40-е годы к гоголевской школе в русской литературе.

[26] Основьяненко – псевдоним украинского писателя Квитки, Григория Федоровича (1778–1843), писавшего также и на русском языке. Его сатирический роман «Пан Халявский», написанный на русском языке, пользовался большой популярностью.

– Почему же вы думаете, что я пишу? – спросил он, в свою очередь, как бы несколько сконфуженный этим вопросом.

– Так мне кажется, что вы непременно сами пишете.

– Может быть, – отвечал Калинович.

Петр Михайлыч захлопал в ладоши.

– Ага! Ай да Настенька! Молодец у меня: сейчас попала в цель! – говорил он. – Ну что ж! Дай бог! Дай бог! Человек вы умный, молодой, образованный… отчего вам не быть писателем?

– Что же вы пишете? – спросила опять Настенька.

Но Калинович не отвечал.

– Это, сударыня, авторская тайна, – заметил Петр Михайлыч, – которую мы не смеем вскрывать, покуда не захочет того сам сочинитель; а бог даст, может быть, настанет и та пора, когда Яков Васильич придет и сам прочтет нам: тогда мы узнаем, потолкуем и посудим… Однако, – продолжал он, позевнув и обращаясь к брату, – как вы, капитан, думаете: отправиться на свои зимние квартиры или нет?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.